

**ИНТЕРВЬЮ С ИГАЛОМ ХАЛФИНЫМ И
ЙОХАНОМ ХЕЛЛЬБЕККОМ**

(Перевод М. Могильнер)*



**INTERVIEWS WITH IGAL HALFIN
AND JOCHEN HELLBECK**

(Translated by M. Mogilner)**

* Перевод ключевых терминов выполнен в соответствии с указаниями авторов, кавычки расставлены в соответствии с английскими оригиналами текстов интервью.

** Authors have specified the desirable translation of key terms, quotation marks are all those from the English original texts.

1. Редакция AI: Концепция субъективности принципиальна для Вашего исследования. Индивидуум с его мыслями и желаниями, как они открываются в автобиографических документах, для Вас есть свидетельство “действительного” отношения человека к внешнему миру, к режиму. Могли бы Вы описать историографическую традицию изучения субъективности, наследниками которой Вы являетесь?

☆☆

1. Editors of AI: The concept of subjectivity is central to your work. The individual, with its thoughts and desires, revealed in a series of autobiographical documents, stands as a witness to the “real” position of a human toward the outside world of the regime. Could you outline the historiographical tradition of subjectivity studies that you are building upon?



Игал ХАЛФИН Моя историографическая позиция может быть описана как результат пересечения подходов Мишеля Фуко и Юрия Лотмана. Несмотря на то, что они представляют различные интеллектуальные направления, исследования субъективации Фуко и тартусские семиотические исследования театральности индивидуального поведения имеют много общего. Они обращают историка к символическому универсуму, который наполняет деятельность

Йохан ХЕЛЛЬБЕК Прежде всего я бы хотел выразить признательность журналу *Ab Imperio*, предложившему рассмотреть некоторые теоретические предпосылки и практические результаты новейших исследований советской субъективности. Эта исследовательская область переживает этап становления. До настоящего момента преимущественное внимание здесь уделялось выявлению и обсуждению источников изучения советской субъективности, а не теоретическим и методологическим вопросам.

Субъективность может иметь несколько значений: она может фиксировать мир субъективного восприятия конкретного индивидуума, либо пониматься как исторически обусловленная форма Я (selfhood) – это и есть моя трак-

смыслом, и помогают ему уйти от абсолютизации внекультурных, утилитарных интересов, которые якобы и объясняют человеческие действия. Безусловно, “интересы” остаются важным объясняющим термином в моей работе с историческим материалом, но лишь постольку, поскольку существует понимание того, что “интересы” всегда заранее структурированы политическим языком. На основе сохранившихся в провинциальных партийных архивах студенческих заявлений о приеме в партию я идентифицировал жанр коммунистической автобиографии и показал, как эти короткие рукописные автобиографии вдохновлялись эсхатологическими мотивами, растворенными в большевистском дискурсе. Кандидат в Партию – составитель автобиографии – заявлял о достижении зрелого коммунистического самосознания (что и мотивировало его вступление в Партию) и рассказывал о своей жизни вплоть до момента “перерождения”

☆☆

товка данного термина. “Я”, отражающее то, как индивидуумы концептуализируются извне или концептуализируют себя сами, не есть некая данность, оно подвержено историческим изменениям. Такое “Я” создается в процессе взаимодействия предписаний и практик, которые изменяются во времени и пространстве, направлены на индивидуумов и побуждают их к определенному образу жизни и к стремлению к определенным целям. Не все “Я” могут быть описаны как субъекты. Когда я говорю о *субъекте* и его производном – *субъективности* (подразумевая самосознание субъекта), я имею в виду определенный тип “Я”, стремящийся к пониманию себя как субъекта своей собственной жизни (в противоположность восприятию себя как, скажем, объекта высшей воли). Таким образом, субъективность предполагает определенную степень сознательного участия индивидуумов в сотворении собственных жизней. Несмотря на то, что некоторые философы и медиовисты показали, что в определенных случаях этот тип “Я” можно обнаружить в традиционных обществах, вполне оправданно считать его феноменом эпохи модерна. Первым великим событием, превратившим субъективность в политический вопрос и бросившим лозунг всеобщей *субъективации*, превращения всех индивидуумов в сознательных граждан республики, была Французская Революция.¹

¹ Хотя я использую термин “субъективность” (“Subjectivity”), мое понимание этого термина лучше передается неологизмом “субъектность” (“subjecthood”).

как о процессе духовного роста. Коммунистическая автобиография структурно являлась аналогом признания, поскольку достижение коммунистического совершенства требовало наличия “несовершенной” точки отсчета – состояния несознательности и теоретической наивности. В решающий момент, когда, согласно коммунистической автобиографии, ее автору открывался свет Коммунизма – этот момент, явно отсылающий к христианскому “обращению”, большевики называли “переходом” или “осмыслением” – индивидуальное сознание и партийная линия, воплощавшая надличностное пролетарское сознание, предположительно сливались. Начиная с момента “перерождения” коммунистическое сознание оставалось стабильным и его носитель должен был посвятить себя обращению в собственную веру других (агитация как свое рода большевистская миссия).

☆☆

Лишь немногие историки изучали субъективность в этом ключе. Традиционно проявляя особую чуткость к меняющимся историческим обстоятельствам, историки, тем не менее, воспринимали “Я” как постоянную величину – трансисторический субъект. Это объясняет, почему субъективность остается недовысказанной и недоосмысленной категорией в исторических исследованиях. Несмотря на недавнее признание историками факта культурной обусловленности таких категорий социальной репрезентации, как класс, раса, гендер или этнос, это понимание редко распространяется на уровень индивидуумов, на концептуализацию их устремлений и самоинтерпретаций.

Мои соображения по этому поводу сформировались под влиянием теоретиков литературы (работ новых историцистов, главным образом в области изучения Ренессанса и викторианской эпохи), специалистов по гендерным исследованиям, культурных антропологов и особенно – под влиянием работ Мишеля Фуко, который разработал не только методологию исследований “Я”, но и влиятельную схему формирования и описания субъективности эпохи модерна. Все эти подходы, несмотря на имеющиеся между ними различия, сходятся в фундаментальном понимании “Я”, которое не может предшествовать определенной ис-

Субъективность может заключать в себе коннотацию предвзятости (например, “субъективное восприятие”), чего я пытаюсь избежать, поскольку это не имеет ничего общего с состоянием, которое я описываю – “быть субъектом”.

Я утверждаю, что понимание механизма распространения коммунистических культурных смыслов и социальных идентичностей позволяет лучше представить теорию и практику большевистской попытки революционализировать личность. “Коммунистическое Я” (Communist Self) и автобиографию как средство его формирования я рассматриваю в контексте проблематики модернового (после 1789 г.) субъекта, определяющегося через способность воспринимать себя как объект собственных творческих усилий. Таким путем коммунисты порывали с традицией: посредством автобиографического пересоздания себя член партии примерял на себя характерное для модерна понятие субъекта как политического агента (своего рода развитие романтического интереса к индивидуальному самоперерождению и самоэмансипации). Рассказывая свою жизнь, коммунист стремился уяснить свою собственную роль в разворачивающейся

☆☆

торической ситуации. Вместо того, чтобы просто принимать содержание личного источника как прямое аутентичное свидетельство, они обращаются к изучению процесса, посредством которого “Я” получает возможность высказать себя, а также тех концептов и идентичностей, на которых основывается эта способность к самовыражению.

Почему все эти вопросы важны в контексте советской истории? Когда я начал знакомиться с дневниками раннесоветского периода, особенно 1930-х гг., меня поразило, какое выдающееся место отводилось в них “Я”. Саморефлексия, интроспективный взгляд “Я” автора дневника и призыв к само-(пере)созданию являются центральными темами этих дневников. Это, а также неожиданно значительное число дневников, “хроник Я”, ставших доступными в последние годы, свидетельствует о важности проблемы “Я” для раннесоветского периода. Такой подход бросает вызов традиционным представлениям, согласно которым советские граждане реагировали на давление тоталитарного государства, уходя в себя и скрывая свое “Я”. По сей день многие историки проецируют на советские реалии стандарты либеральной субъективности, наделяя советских граждан индивидуалистическими порывами и фундаментальным стремлением к индивидуальной автономии. Мне думается, что этот тип субъективности непригоден для понимания сталинской эпохи.

Напротив, я рассматриваю советский вариант артикуляции “Я” – как частного, так и публичного – в более широком контексте самопре-

Истории и таким образом вписать себя в советский политический порядок.

И Фуко, и Лотман понимали личность как артефакт, проект, который реализуют исторические агенты, а не как надысторическую данность, открывающуюся только посредством тщательного чтения между строк – акт, обычно подразумевающий внеисторические проекции историка на его источники. В изученном мною акте большевистского автобиографического письма грань между “рассказанным Я” (narrated self) и “рассказывающим Я” (narrating self) оказывается разрушенной. Восприятие “Я” не только как производителя автобиографии, но и как ее продукта устраняет необходимость установления правдивости содержания автобиографии, ее соответствия жизненным реалиям. Если коммунистическая автобиография не позволяет однозначно утверждать, каким в действительности был писавший

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

зентации и деятельности от имени “Я”. И прежде всего здесь имеется ввиду советская революционная программа субъективации, превращения индивидуумов в исторически и политически сознательных субъектов. “Я” имеет первостепенное значение для коммунистического проекта, чей *raison d'être* состоял в осознанном и добровольном участии каждого отдельного гражданина в пересоздании природы, общества и себя. Свобода, к установлению которой стремился коммунизм, определялась тем, что ее принимали сознательно. Насилие и жестокость всегда оставались полезными и легитимными средствами на этом пути, но только в той степени, в какой они способствовали субъективному пониманию и проникновению в коммунистическое послание. Без преувеличений, коммунистический проект может рассматриваться как грандиозный “Я”-проект по превращению несовершенных партикулярных человеческих существ в универсальных социализированных субъектов. Советский режим инвестировал в эту кампанию огромные ресурсы, учредив целый ряд субъективирующих практик – практик пересоздания “Я” посредством физического труда, а также через ритуалы письменной и устной саморепрезентации. Вне зависимости от того, сознательно или несознательно авторы дневников реализовывали эту программу, они формировались под ее воздействием, и то, как они выражали свое “Я”, может быть адекватно понято только в контексте времени, на котором коммунистический проект социализации “Я” оставил несмываемую печать.

ее индивидуум, она рассказывает о том, каким он надеялся стать. Коммунистическое мировоззрение не позволяет упрощенно усматривать в автобиографии результат принуждения, вынужденного принятия автором предписанной идентичности. Многие современники использовали форму коммунистической автобиографии, чтобы артикулировать новое ощущение собственного Я для себя самих и чтобы очертить свое место в большевистском порядке.

Несмотря на структуралистские корни моего подхода, он учитывает действия, влияющие на язык и делающие его динамичным. Но под действием я понимаю событие, описанное в автобиографии, а не событие, которое имело место в реальности и в ней более или менее правдиво отражено. В той же логике, говоря о создателе автобиографии, я имею в виду не конкретную историческую личность, а абстрагированного героя автобиографического повествования. Со-

☆☆

Необходимо добавить, что я использую термин “коммунистический проект” как сокращенное обозначение сразу целого ряда инициатив центральных и местных революционных деятелей, которые, несмотря на многочисленные внутренние разногласия и трения, существовали в общей системе координат, заданной Советской Революцией, приверженностью делу построения нового мира и картиной фундаментально преобразованных социальных и личных отношений. Я не хотел бы создать впечатление, что коммунизм или коммунистический режим действовал по единой четкой программе, реализующейся законным и монологичным образом. Именно поэтому, призывая историзировать индивидуумов и их представления о себе, я призываю также историзировать природу, формы и репертуар практик субъективации советского государства.

Советский режим, претендовавший на единственно правильное воплощение коммунистической программы, был наиболее значительным, но не единственным фактором культурной среды сталинской эпохи. Другими дополнительными факторами, влиявшими на репрезентацию и интерпретацию “Я”, являлись религия и воспоминания о досоветских политических и моральных ценностях. Однако, изучая такого рода альтернативные воздействия, необходимо учитывать, как на них сказалась революция 1917 года и более десяти лет революционной политики в однопартийном государстве. Еще одним формирующим фактором являлось внешнее окружение, рост фашизма, преобладание авторитарных форм власти по всей Европе, и квазиуниверсаль-

здатель автобиографии – даже если речь идет о конкретной личности – выступает не как реальный исторический актер, а как персонаж, действующий в пределах своего текста. Нет нужды искать полного совпадения идентичности и дискурса, при котором подразумевается, что дискурс создателя автобиографии более или менее аккуратно отражает его реальное аутентичное Я. Каждая автобиография проявляет какой-то аспект личности ее автора, но ни одна автобиография не выявляет ее полностью. И каждая автобиография что-то сообщает нам о том, как ее автор осваивает, манипулирует и бросает вызов официально предписанной идентичности. Тем не менее, необходимо учитывать определенное несоответствие между тем, как автор представлен в тексте, и тем, каким он хочет предстать – иначе автобиографию пришлось бы воспроизводить, а не анализировать. Мое понимание того, как текст генерирует смыслы, подталкивает

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ное восхищение массовым движением и коллективными формами самореализации, существовавшее на фоне упадка традиционных либеральных принципов индивидуализма и автономии, которые отвергались как эгоистические, устаревшие и “буржуазные”.

Очевидно, что мое понимание субъективности несколько отличается от того, которое предполагается в Вашем вопросе. Я рассматриваю не индивидуума во всей совокупности его “мыслей и устремлений”; по моему мнению, индивидуум не “открывает” свои мысли и устремления в источниках и не противостоит “внешнему миру” режима. Именно такой подход, предполагающий, что автор дневника откликается на “окружающий мир” с позиции уже вполне сформированного, уже существующего ощущения себя, я стремлюсь опровергнуть. Я бы хотел проиллюстрировать это с помощью нескольких кратких примеров: на мой взгляд, саморефлексивность автобиографических текстов сталинской эпохи не дает оснований квалифицировать интеллектуальный статус их авторов или их социальную позицию с помощью термина *интеллигент*; скорее, речь идет о типе письма, который требовался от индивидуумов в то время. Душевные самокопания были не религиозным рефлексом, проявлявшимся в дневнике, но жестом, обретавшим обязательный смысл в контексте режима, озабоченного выявлением моральной чистоты своих граждан.

Таким образом, личные источники, якобы “открывающие” мысли и устремления индивидуумов, гораздо продуктивнее использовать как

меня к “симптоматическому” чтению, которое предполагает интерпретацию пропусков, смысловых нарушений и инсинуаций – нам известно, как люди редактировали свои автобиографии дабы представить себя в лучшем свете, и как им все равно не удавалось создавать “неуязвимые” нарративы.

2. Редакция AI: Создается впечатление, что Вы примыкаете к исследовательскому направлению, которое не склонно автоматически принимать картезианско-кантианское понятие самосознающего и самоконтролирующего Я. Скорее, Вы рассматриваете человеческий субъект как область реализации властных дискурсов. В таком случае, Вы являетесь наследниками французской постструктуралистской мысли, и прежде всего, Мишеля Фуко. Если мы применим эту модель в ее целостности в контексте сталинского государства, не будет ли это означать реставрацию тоталитарной модели в новом мас-
☆☆

свидетельства процесса конструирования индивидуумами себя в качестве саморефлектирующих, подвергающих себя сомнению субъектов своего времени. Сохранившиеся книжки дневников – это не только зеркала саморефлексии, с такой же вероятностью их можно рассматривать как материальные остатки исторических практик субъективации.

2. Editors of AI: It seems that your work continues the line of inquiry that does not take the Cartesian-Kantian notion of the self-conscious and self-controlling ego for granted. Rather, you are approaching the human subject as a field where discursive relations of power are exercised. In that approach, you are following the French post-structuralist thought, Michel Foucault primarily. If we accept this position entirely in the context of the Stalinist state, does not this mean the restoration of the totalitarian model on a new scale, where the individual liberty (presumably at the kern of the liberal vision of subjectivity) is subsumed into the play of discourses; does not this mean that we allow for an interpretation of the Stalinist societal organization in which the state with its ideological state apparatuses acquires absolute and unchallengeable control over human souls? Alternatively, if we are to avoid such an over-empowerment of the Stalinist state with God-like features, how can we think of possible spheres of resistance? Do not such spheres of resistance signify a space where the subject becomes again independent, where the contradictions of textual influences within the subject become *aufgehoben*? To put it in Hegelian terms, can we speak about an area of individual, private liberty secured by human subjects against the power of the external?

штабе, где индивидуальная свобода (находящаяся, предположительно, в центре либеральной трактовки субъективности) поглощается игрой дискурсов; где сталинское государство, с его идеологическим аппаратом, приобретает абсолютный и непоколебимый контроль над человеческими душами? Если же мы не преувеличиваем могущество сталинского государства, наделяя его чертами божественного свойства, где мы можем помыслить возможные сферы сопротивления? Не очерчивают ли эти сферы сопротивления пространство, в котором субъект вновь обретает независимость, где противоречия текстуальных воздействий внутри субъекта снимаются? Говоря языком гегельянства, можем ли мы выделить область индивидуальной, частной свободы, которую человек противопоставляет внешней власти?

Игал ХАЛФИН Ставшая привычной увязка либерализма и свободы представляет собой миф, пригодный для политического употреб-

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Йохан ХЕЛЛЬБЕК В своем анализе я, конечно, не оперирую представлением о том, что в сердце индивидуума живет изначально существующее стремление к индивидуальной свободе. Вместо того, чтобы предполагать наличие неких онтологических сущностей, мы должны изучать индивидуума как продукт истории. Его субъективность необходимо рассматривать как возникающую, а не заданную, изначально существующую основу его мыслей и действий. Как демонстрируют работы Фуко, гуманистический человек есть изобретение, предписывающее определенную форму существования, в то время как человеческое существование как таковое неопределенно и открыто.

Фуколдианская трактовка субъекта, формирующегося и определяющегося властными отношениями, полезна в двух смыслах: она выполняет демистификаторскую функцию, лишая нас иллюзии существования аутентичного субъекта, ждущего падения стесняющей его политической власти, чтобы полностью проявиться. Эта трактовка концептуализирует власть как продуктивную силу и таким образом противостоит обыденным представлениям о власти, особенно государственной власти, как угнетающей индивидуума. В то же время, буквальное приложение фуколдианской дефиниции процесса субъективации (*assujétissement*) к советскому случаю порождает много вопросов и проблем. Фуко рассматривает формирование субъекта двояко: во-первых, как процесс воздействия внешних дисциплинарных практик, которые формируют из индивидуума дисциплинированного, нормализован-

Интерпретационная открытость, свойственная литературному анализу, ни в коей мере не должна прочитываться как произвольность. Подобно литературному критику, историк тоже ограничен источниками, обладающими правом “veto”, благодаря которому некоторые интерпретации отменяются как не имеющие документального основания. Однако литературоведы обычно более, чем историки, расположены постулировать субъекта как интерпретирующего агента, тем самым позволяя нам увидеть в языке локус самовыражения.

Предположение, что субъекты в принципе свободны, что такова сущность людей вне зависимости от времени и места (Кант определяет субъекта как внеисторическую абстракцию) и что главным ограничителем человеческой свободы является враждебное политическое или идеологическое окружение, ошибочно как с этической, так и с эмпирической точки зрения. Этическая ошибка состоит в том,

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

смерти субъекта релятивизируется реабилитацией субъекта в его позднейших работах. Однако гораздо более значительным является наблюдение, что две части схемы субъективации не пересекаются, они оперируют в различных культурных контекстах. Причина этого отчасти кроется в использовании для их объяснения различных методологий. Но отчасти сказались тут и критическое, даже пренебрежительное отношение самого Фуко к современной субъективности. Этот тезис особенно важен для нашего обсуждения.

В качестве политического активиста и философа Фуко проводил различие между двумя принципиально разными типами формирования субъекта: один – дисциплинированный и нормализованный, продукт социального надзора и контроля, и другой – полноценный, волеизъявляющий, развивающийся вне сферы социальных норм. Подобный дуализм можно обнаружить в философии Мартина Хайдеггера, оказавшего серьезное интеллектуальное влияние на Фуко. Современное существование, постулировал Хайдеггер, определяется правилом “массового человека”, социальными условностями, производящими усредненных, конвенциональных, робких человеческих существ, которые не живут, а существуют. Истинная жизнь может быть достигнута только через трансцендентный опыт, через риск, через активную, героическую позицию. Говоря обобщенно, взгляды Фуко на современного субъекта наследовали традицию *Kulturkritik*. Это проявилось в его поисках форм истинного, беспрепятственного самовыражения, а так-

что либеральный взгляд на человека, характерный для XIX века, подается как эталон – глубоко антиисторическая позиция, во имя обязательного либерального самоопределения отрицающая право другого на иной взгляд на мир. Эмпирическая ошибочность либерального положения о свободном субъекте заключается в невозможности дать убедительное объяснение поведения людей, которые выражают себя через тоталитарные режимы. Историки, разделяющие советское общество на тех, кто поддерживал Сталина, тех, кто не соглашался с ним, и тех, кто занимал промежуточную позицию, замалчивают само существование сталинистов и даже не пытаются рассказать о сталинской субъективности как о позитивном проекте со своими собственными представлениями о смысле жизни, счастье и проч.

Что касается сопротивления, то оно имеет место всегда, но так или иначе реализуется в рамках данного языка. Приверженцы тра-

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

же в его критике современного капиталистического общества, опутанного невидимой, но всепроникающей паутиной социального контроля и индивидуального самоконтроля, не позволяющей эстетического и этического субъективного самовыражения. Согласно Фуко, свободная субъективность реализовывалась только за границами современной истории, например, в классической античности, в произвольно сформировавшихся формах “заботы о себе”. (Историки античности показали, что такое представление о свободной субъективности является ретроспективным мифом ограниченной аналитической ценности).

Анализируя дисциплинированного субъекта – здесь лежит камень преткновения – Фуко анализировал и критиковал современную субъективность. Тем не менее, как мне кажется, историки, воспринявшие эту модель в качестве схемы анализа, используют ее как якобы свободный от ценностных предпочтений инструмент аналитической деконструкции. Пытаясь очертить всю сферу формирования субъекта и представить отчет о совершенных индивидуумах, они следуют методологии, предназначенной для выявления изуродованных, искусственных черт “Я”. Непреднамеренно подобные исследования продлевают жизнь традиции *Kulturkritik* начала XX в. Применительно к советскому случаю результаты подобных интеллектуальных упражнений достойны иронии. Иронии, поскольку советский проект как таковой возник как институционализируемая критика либеральной модерности. Многие субъекты сталинской эпохи, чьи личные тексты я читал, концепту-

диционного историографического подхода исходили из того, что человек сопротивляется во имя универсального кантианского субъекта как воплощения настоящего знания, справедливости и человеческого достоинства. Такой подход ориентирует историков Советского Союза на преимущественно бесплодные поиски “честных” и “благородных” противников режима (т.е. протолибералов), в то время как действительно интересные феномены, и прежде всего оппозиционизм, игнорируются. Троцкисты рассматривали себя как борцов сопротивления, они бросали вызов сталинизму и платили за это своими жизнями, но все это делалось во имя возвращения к первоначальному ленинскому мировоззрению, а не во имя ценностей, внешних по отношению к революционному дискурсу. Конечно, подобная форма сопротивления малоинтересна для философа, дорожащего универсальными общечеловеческими ценностями, поскольку оп-
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ализировали свои жизни в терминах, напоминающих терминологию Фуко и Хайдеггера. Они разграничивали серое будничное существование и высший уровень настоящей, выразительной индивидуальной жизни. И часто они указывали на коммунистическую идеологию как на катализатор их вознесения в эту высшую сферу. Таким образом получается, что коммунистическая идеология удовлетворяла некоторые этические и эстетические притязания, которых, как считал Фуко, был лишен модернистский капиталистический субъект. Однако этот субъективизирующий потенциал идеологии (субъективизирующий в смысле последних работ Фуко) теряется в исторических исследованиях, описывающих индивидуумов, которые находятся в тисках нормализующих дискурсов. Фуко не несет ответственности за это “слепое пятно”, ведь он анализировал капиталистические государственные формации, где стремление к альтернативному аутентичному “Я” не было возвышено до уровня государственной идеологии. Тем не менее, отмеченный выше факт остается в силе: в советском контексте два фундаментально противоположных субъекта философии Фуко – отчужденное и дисциплинированное модерное “Я” и его утопическая противоположность, свободное аутентичное “Я” – странным образом накладываются друг на друга.

Несмотря на то, что методология Фуко исключительно полезна для демонстрации того, как в принципе конструируется “Я” и как власть, прежде всего, государственная власть, производит субъективность, я

позиционеры не покушались на основы большевистского дискурса, а в каком-то смысле еще более его укрепляли. Но для 1920-30-х гг. характерной была именно такая “архилевацкая” форма сопротивления, и для меня, как историка той эпохи, ее изучение крайне важно. Другими словами, сопротивление сталинизму имело место, но его следует не идеализировать, а рассматривать в контексте.

3. Редакция AI: В связи с предыдущим вопросом возникает проблема взаимоотношений между дискурсивными и недискурсивными средствами субъективации. Если мы рассматриваем советского субъекта при Сталине как сознательного участника исторического процесса, разделяющего нарратив, предложенный режимом, как мы должны понимать динамику между дискурсивным и репрессивным аппаратом? Можем ли мы рассматривать эти отношения как отношения между государственной властью, реализованной в дискурсе

☆☆

крайне осторожно использую фуколдиданскую дуалистическую концепцию “Я”, не в последнюю очередь потому, что она воспроизводит дуальность, присутствующую в оригинальных определениях “Я” сталинского времени. Вообще говоря, мне кажется, что историки должны использовать теоретические модели с большой осторожностью, учитывать политические и философские предпосылки и подпорки теорий, с которыми они работают, и всегда корректировать теоретические соображения собственным “научным чутьем”, сформированным историческим материалом, борьбой с источниками, что и является базисом “ремесла историка”. Иначе тело теории превратится в корсет.

Но вернемся от обсуждения исследовательской свободы к Вашему вопросу об индивидуальной свободе и отношениях с государством. Индивидуальные нарративы, которые я изучал, свидетельствуют о значительных масштабах “текстуального беженства”. Достаточно многие авторы дневников не принимали участия в советском проекте субъективации, и вполне могли быть людьми, предпочитавшие воздерживаться от писания дневника, чтобы избежать разоблачения. Однако мы можем только догадываться об их восприятии себя. Мое расследование начинается с того момента, когда человек артикулирует свое самопонимание. Любопытное совпадение – именно это происходит в вводной сцене романа Джорджа Оруэлла “1984”: Уинстон Смит садится за стол, открывает чистую записную книжку, и дрожь пробегает по его внутренностям. Он начинает писать длинное беспорядочное введение, кульминация которого

эмансипации, социального равенства и исторического прогресса, и государственной властью физических репрессий, кульминацией которых являлись суд и казнь?

Игал ХАЛФИН Разграничение между дискурсивными и недискурсивными практиками субъективации – это веберианское разграничение, которое я пытаюсь преодолеть. Дискурс буквально представляет собой некое единство между языком и властью¹, где язык обретает значение только в рамках тех механизмов власти, которые определяют, что должно считаться правдой, и позволяют манипулирование символами, оправдание господства и т.д. В изучении совет-

¹ Речь идет о власти в фуколдианском понимании, “микровласти”, плюралистичной по своим источникам, реализующейся на разных уровнях социальной действительности. – *Примечание переводчика.*

★ ★

достигается в звучащем отрывисто, “на стаккато”, слове “Я”: “меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок мне все равно долой старшего брата всегда стреляют в затылок мне все равно долой старшего брата”. Естественно, Оруэлл приравнял этот акт артикуляции своего “Я” к акту индивидуального неповиновения режиму. Однако я бы не стал делать подобное заключение на советском материале. По мере того, как авторы дневников произносили слово “Я” и продолжали определять себя, они вступали в силовое поле, на котором советский режим поддерживал значительную, хотя, конечно, не эксклюзивную, власть над дефинициями. В контексте революции, массовых движений и строительства нового мира отступление к “буржуазным” ценностям казалось ретроградным и навязывало субъекту логику самомаргинализации. Поэтому я повторяю, что вместо допущения изначально существующего стержня индивидуальной свободы внутри каждого индивидуума, мы должны добраться до историзированного понимания того, к какой именно свободе стремились индивидуумы в конкретный исторический момент.

Вы упомянули в вопросе Гегеля. Гегель релевантен для нашего разговора, поскольку он присутствовал в умах значительного числа советских граждан того времени. Но я бы не стал использовать гегельянский термин *Aufhebung* как нечто, к чему прибегали индивидуумы, дабы сформулировать свое определение индивидуальной свободы. Советские последователи Гегеля были искусными диалектиками, в своих поисках самосознания и свободы они опирались на категории субъекта и

ской истории понятие дискурса приносит особенно щедрые дивиденды. Коммунистическое насилие смогло реализоваться в таком грандиозном масштабе именно потому, что оно было морально допустимо в глазах современников. Анатолий Луначарский не скрывал того факта, что дискурс равенства и справедливости и дискурс социального самоочищения, связанный с массовыми репрессиями, проистекали из одного и того же широко распространенного среди коммунистов устремления к достижению человечеством состояния морального совершенства. Этот выдающийся партийный деятель считал, что мгновенное достижение гуманистических идеалов невозможно. “Вначале необходимо уничтожить наших врагов”. Эгоистический интерес и личные аппетиты вряд ли могли быть единственными или даже наиболее важными мотивами деятельности приверженцев сталинизма. Коммунисты утверждали, что необходимо пре-

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

объекта. Именно посредством диалектической переработки субъективного “Я” *vis-a-vis* объективной реальности достигалось коммунистическое сознание, выражающееся в слиянии субъекта и объекта. Понятно, что индивидуальная автономия не была вершиной этого процесса; в гегельянской схеме ей отводилась низшая стадия несчастного, разделенного сознания – состояние одинокого, несовершенного субъекта, оплакивающего свое изгнание из объективного мира.

3. Editors of *AI*: Related to the above question is the problem of the relationship between discursive and non-discursive means of subjectivizing. If we look at the Soviet subject under Stalin as a conscious participant of the historical process, who shares the narrative suggested by the regime, how could we understand the dynamics between discursive and repressive apparatuses? Is there a relationship between the state power realized in the discourse of emancipation, social equality, and historical progress and the state power of physical repression, realized in the final moment of trial and execution?

4. Correspondingly, there emerges a structurally similar question on the relationship between textual and contextual spheres. The methodological tools that you are using in your research suggest a strong affiliation with the post-structuralist thought, with the textual, even rhetorical instrumentarium, the Derridean *il n’y a pas de hors-texte*. However, you tend to interpret the subjectivizing practices of the Stalinist state in the vein that is proclaimed by socio-histoire, looking for the relations of power within any textual interac-

дупредить вездесущий и всеильный контрреволюционный заговор, и насилие казалось легитимным средством достижения этой цели. Хорошо известно, что арестованные в годы Большого Террора оказывались неспособны воспринимать своих тюремщиков как настоящих врагов или представителей чуждой власти. Они разделяли общее мировоззрение и расходились лишь в том, кто должен находиться в роли заключенного, а кто – следователя, саму же допустимость подобной классификации населения они не оспаривали. Другим важным аргументом против идеализации жертвенности подсудимых является огромный общественный престиж карательных органов. НКВД мог осуществлять массовые репрессии, не встречая серьезного сопротивления, именно потому, что и НКВД, и другие карательные институты социалистического государства воспринимались как легитимные и необходимые. Вспомним случай Юлии Пятниц-

☆☆

tion. How do you conceptualize such tension between text and context, between extra-textual sources of power and their textual correspondences?

Йохан ХЕЛЛЬБЕК Если говорить о моем использовании категорий текста и контекста, то оно определяется не влиянием Деррида, а стремлением аннулировать дихотомию текста и контекста и акцентировать интерпретацию текстуальных и материальных практик. То же самое делают литературоведы школы нового историзма, однако я воспринял этот подход в процессе размышления над источниками моего исследования. Я также считаю, что от новых историцистов меня отличает подчеркнутое внимание к политическим последствиям взаимодействия “текст-контекст” и процесса создания субъекта.

Применительно к советскому случаю эта методология позволяет выявить насилие, прописанное в языке режима, и в то же время оценить, в какой мере практики насилия были привнесены или сформированы революционной идеологией. На этом уровне я обнаруживаю меньше сложностей, чем предполагает Ваш вопрос.

Советский дискурс “Я” никогда не страдал от недостатка символического насилия. Борьба, выявление врага внутри себя, разрушение “старого человека” ради создания “нового человека” – все это ключевые компоненты советской субъективности. Прославление силы, здоровья и красоты сочеталось с открытым презрением к тем, кто считался слабым, больным и неприспособленным к жизни. Репрессии были прописаны в нарративах о коммунистических субъектах.

кой, жены сотрудника Коминтерна Осипа Пятницкого, арестованного в 1937 году: она колебалась между возможностью поверить в версию Ежова, согласно которой ее муж действительно являлся агентом Охранки, и вероятностью проникновения враждебных элементов в низшие эшелоны НКВД. Ей и в голову не приходило, что “враги народа” были дискурсивным конструктом и что глава НКВД и само подвластное ему ведомство могли ошибаться в принципиальных вопросах. Другими словами, у меня имеются серьезные сомнения по поводу того, насколько разделение на репрессивные и экспрессивные механизмы, применявшиеся в Советском Союзе, полезно для исторической концептуализации. Больше пользы принесет понимание того, как оправдывалось насилие и как язык действовал в качестве репрессивного медиума. Речь идет не о тривиальной самоцензуре: индивидуумов постоянно призывали выявлять и отсе-
☆☆

Если мы понимаем “текст” строго как литературный нарратив, в советском, а точнее, в советском и российском контексте, отношения между текстом и контекстом приобретают особую конфигурацию. Здесь вполне уместно повторить ставшее общим местом утверждение, что российская позднеимперская и советская культуры были исключительно логоцентричны, наделяли профессиональных писателей и создаваемые ими литературные модели таким авторитетом, что порой эти модели превращались в жизненные сценарии и формировали личный опыт людей. Сталинская культура, возвысившая писателя над другими творческими профессиями и назначившая его “инженером человеческих душ”, произрастала из этой традиции. Говоря обобщенно, советский проект создания Нового Человека осуществлялся, главным образом, через текстуальные формы, биографические и автобиографические тексты (автобиографии, ритуалы критики и самокритики, допросы НКВД и стенограммы процессов), и эти тексты воспринимались как вполне материальные элементы процесса создания субъективности. Таким образом, сам сталинский режим отрицал качественное различие между текстом и контекстом. То же самое относится и к авторам дневников эпохи Сталина, многие из которых намеренно идентифицировали текстуальную репрезентацию своих жизней с жизнью как таковой.

Если отдельный субъект и государство движутся в едином строю по траектории революционного очищения социального пространства, и если оба принимают насилие как легитимный инструмент, необхо-

кать буржуазную часть своей души, т.е. применять насилие к самим себе. Вспомним бесконечную самокритику и самооговоры, которые были характерны для большевизма с первых лет существования режима, но приняли гигантские размеры в середине 1930-х гг.

4. Редакция AI: Соответственно, возникает структурно схожий вопрос об отношении текста к контексту. Используемая Вами методология предполагает влияние постструктуралистской мысли с характерным для нее текстуальным, даже риторическим инструментарием, дерридовской *il n'y a pas de hors-texte*. Однако субъективирующие практики сталинского государства Вы интерпретируете в духе социоистории, стремясь обнаружить отношения власти в любом акте текстуального обмена. Как бы Вы описали то напряжение, которое возникает между текстом и контекстом, между внетекстуальными источниками власти и их реализациями в текстах?

☆☆

димый для ваяния общества и себя, что происходит с отдельно взятым индивидуумом, который становится мишенью очистительной кампании? Он может попытаться защитить свою чистоту или пообещать исправиться, либо он может указать на (нечистых) клеветников как на источник своего несчастья и обвинить их, но его возможности выгнать себя со скамьи подсудимых ограничены заданной на уровне дефиниций субординацией субъекта (индивидуум, о котором идет речь) объекту (объективной реальности, воплощенной в партии и государстве). Именно в таких экзистенциальных ситуациях, для которых Шейла Фитцпатрик предложила метафору “жизнь в огне”, советские граждане пытались убедить свою скептическую аудиторию в том, что их отчеты о самокритике и обращении являются не просто текстуальными репрезентациями, что они выражают суть их “Я”, что им действительно открылся свет коммунизма. Только в советском случае (в отличие от нацистской Германии и фашистской Италии) мы наблюдаем поразительный феномен, когда массовая аннигиляция жизни на физическом уровне сопровождалась массовым утверждением жизни на уровне текста, в форме тщательно сделанных, внутренне согласованных автобиографий. Можно сказать, что это было определяющей чертой советской эпохи, сформировавшейся отчасти на основе демиургической, жизнетворной власти, которой российская/советская культуры наделяли текстуальные модели, а отчасти – на основе советского революционного проекта, выделявшего “Я” в качестве центральной темы.

Игал ХАЛФИН Политические отношения всегда оставляют символический след. Особенно это верно для советского дискурса, легитимизировавшего себя через преобразующую мир идеологию. Соответственно, идеологические дискуссии всегда были борьбой за власть. Каждый знак лингвистической адаптации, манипуляции или ниспровержения историк может интерпретировать как проявление власти. Но это означает, что контекст (власть) может быть обнаружен в самом тексте (язык). Конечно, качественная контекстуализация требует выхода за пределы текста – не в некую внелингвистическую реальность, но в другие тексты. Об этом можно сказать и иначе: поскольку историки зависят от источников (практически, исключительно письменных), они всегда остаются в рамках текстуального универсума. За их требованием воссоздания “настоящего контекста” стоит иерархизация источников, согласно которой неко-

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

В любом случае, изучая “Я”-нарративы сталинской эпохи, необходимо иметь в виду это экстратекстуальное измерение.

Одно слово о насилии. Размышляя над сталинской эпохой, мы интуитивно проводим границу между насилием и правдой, и я интерпретирую Ваш вопрос в том же духе. Мы верим, что только условия свободной автономии позволяют индивидуумам говорить правду о себе. Соответственно, мы считаем, что насильственные государственные практики, вырисовывающиеся за актами автобиографического самовыражения, мешают правдивому выражению “Я”. Однако изучать следует то, как практики, включая практики насилия, формируют “Я” в первую очередь. Без насильственной установки режима на создание Нового Человека мы бы не получили в наше распоряжение столь значительного объема интроспективных личных отчетов. Более того, в контексте советской революции насилие также может быть понято как этическая категория. Среди борьбы, разрушения старого мира и строительства нового насилие было моральным императивом, действовавшим не только в социальной среде, но в равной мере – на индивидуальном уровне как призыв уничтожить старорежимное “Я” и бороться за достижение нового образа жизни.

История религии учит нас, что спасение, открытие новой правды всегда сопровождается болью и страданиями. Хотя мы должны избегать генерализаций и проявлять особую осторожность, исследуя столь чувствительную и, действительно, экзистенциальную область, конкретные при-

торые из них трактуются как “казенный язык” (*langue de bois*), скрывающий истинные мотивы пишущего, в то время как другим источникам отводится привилегия адекватного воспроизведения реальности. При таком подходе исторический субъект оказывается производным от социальных и экономических сил, стимулирующих его к действию – редукционистский подход, опирающийся на солидную традицию, но оставляющий очень мало места самостоятельному агенту. Вместо демонстрации того, как субъект выступает в качестве локуса языка и власти, такой подход превращает субъекта в марионетку.

5. Редакция AI: Постструктуралистский подход, акцентирующий реализацию власти посредством языка, возник как инструмент анализа современных западных обществ. Многие социологические труды рассматривают эту нерепрессивную, действующую через убеж-
☆☆

меры позволяют предположить, что советские коммунисты, ставшие жертвами террора, активно принимали направленную против них принудительную власть государства как катализатор их самореализации.

6. Editors of AI: In recent years, the concept of ideology has been disappearing from scholarly discourse exactly because this concept designated a discursive sphere whose dynamics depended on extra-discursive reality. Can you describe the subjectivizing practice of the Soviet regime as ideology?

Йохан ХЕЛЛЬБЕК Идеология является чрезвычайно важной для понимания советского коммунизма категорией, и вопрос об идеологии особенно актуален в контексте настоящего обсуждения советского “Я”. Действительно, дискурсивный анализ оказался слеп к воздействию идеологии, понимая ее как очередной дискурсивный конструкт. Но исчезновение идеологии из поля зрения ученых произошло не сегодня и не вчера, и за этим стояло несколько причин: отход от теории тоталитаризма с ее упрощенным пониманием идеологии как инструментального орудия; одновременное проникновение в исторический анализ методов социальных наук, которые основывались на универсальности социального развития и отрицали формирующую роль идеологии; и наконец, социальная история, возникшая как реакция на интеллектуальную историю, предпочитавшую высокую культуру и создававшую нарративы распространения идеологии сверху вниз. Установившийся сегодня в западной академической культуре постмодернистский климат – недоверие к гранднарративам, чья гегемонизирующая амбиция внушает опа-

дение “пасторскую” власть как гарантию воспроизводства общественного режима. Какие теоретические и практические вопросы возникают при переносе этого подхода на изучение сталинского государства?

Igal Halfin “Пасторская власть” – удобная модель для анализа советского революционного дискурса. В моем собственном исследовании я пытался показать, что взаимоотношения “следователь-подследственный” в ходе бесконечных допросов по делу троцкистской оппозиции не могут быть поняты вне контекста патернализма, характерного для “пасторской власти”. В центре процесса “чисток” находился диалог между “оступившимся” товарищем и его следователем. При поверхностном взгляде сразу бросается в глаза конфронтационный характер ситуации: в то время как оппозиционер пытался минимализировать свою вину, следователи прилагали максимум

сения; предпочтение морального релятивизма и многозначного, ситуативного и перформативного прочтения субъективности – также затрудняет регистрацию систем власти, генерирующих абсолютную интеллектуальную и эмоциональную преданность. В область советологии идеология вернулась недавно. Возвращение произошло в серии работ, представивших идеологию как формирующую силу “советского проекта”. Эти исследования были заклеены другими историками как неототалитарные по духу, и, возможно, их концептуальный вклад оказался недооценен, но справедливость требует признать, что в этих исследованиях предлагается монологичная трактовка идеологии как определенного набора идей, которые действуют неумолимо и предшествуют их апроприации и персонализации на индивидуальном уровне.

Наиболее явно недоверие к идеологии проявляется в *истории повседневной жизни (Alltagsgeschichte)* – плодотворно развивающейся области социальной истории. Особенно поражает то, что *Alltagsgeschichte* пользуется наибольшей популярностью в контексте изучения одного из наиболее идеологических (осознанно идеологических) режимов современности – Третьего Рейха. Само допущение идеологического режима, как кажется, должно выдвигать вопросы о том, как люди жили “на самом деле” и как развивалась их повседневность – сфера, которая воспринимается как лежащая вне пределов “партийной” или “государственной” идеологии. Таким образом, приверженцы *Alltagsgeschichte* сознательно разводят предмет своего ана-

усилий, чтобы выявить все его прегрешения. Однако на поверку оказывается, что задача следователя была гораздо сложнее: недостаточно было выяснить, какие именно шаги против партийного большинства предпринял подследственный, надо было также установить степень его сознательности. Суть отступничества проявлялась в намерениях, в душевном состоянии оппозиционера, а не в его действиях. В этом смысле интересы следователя и подследственного совпадали: и тот и другой искали рецептов “излечения” как парии в целом, так и душ партийцев. Оппозиционеры часто признавались, что хотели бы следовать партийному большинству, но не могут расстаться со своими убеждениями. К ним направляли опытных агитаторов не для “промывки мозгов”, а для “идеологической проработки” актуальных вопросов и “сознательного усвоения” партийной линии. Именно так воспринимали это “исправленные” троцкисты, которые

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

лиза и идеологические проекты однопартийного государства, выдвигая на первое место индивидуальных акторов и кластеры локальных значений (*Eigen-Seinn*), в которых они существовали. В результате они создают разрыв в переводе, который масштабные гомогенизирующие планы государства не смогли преодолеть. Но прежде чем перейти к критике этой позиции, я скажу еще несколько слов об идеологии.

Моя трактовка идеологии в советском контексте не строится на отдельно взятой теоретической модели (а их в этой области множество). Все наиболее интересные модели такого рода, на мой взгляд, так или иначе примыкают к марксистской традиции определения идеологии как натурализации существующей реальности, изображая ее невосприимчивой к изменениям. Этот подход может быть применен и к советскому случаю в том смысле, что коммунистическая идеология – саморепрезентация режима – маскировала действительные отношения власти в советской среде. Но эта перспектива затушевывает качественно иной статус идеологии в коммунистическом контексте. В отличие от, скажем, буржуазной идеологии, целью которой являлось воспроизводство существующего буржуазного порядка и которую стремилась оставить прозрачной, действуя неявно, ниже уровня сознательного мира, коммунистическая идеология была нарочитой и преобразующей, нацеленной скорее на сознание, нежели на политическое подсознательное. Это была открытая программа действий, схема мира, который следовало воплотить. Для индивидуума коммунистическая идеология была

письменно заявляли об “отказе” от оппозиционных взглядов и стремились вернуться к партийной работе. Было бы ошибкой обвинять их в коллективной симуляции: историки, поступающие таким образом, становятся на позицию всезнающих следователей и видят в оппозиционерах двурушников. Парадоксальным образом такой недоверчивый подход к текстам (мол, раскаявшиеся троцкисты говорили то, что хотел слышать Сталин) воспроизводит подозрительность и пренебрежение к языку подследственных, характерное для эпохи больших “чисток”.

Чтобы гарантировать душевное здоровье общества, представители партийного аппарата должны были прибегать к “пасторской власти”. Выдвигая на первый план вопрос об идеологически легитимном исправлении советского человека, “пасторская власть” эффективно разрушала различие между “авторитарным” и “братским” ва-

☆☆

тотальным сознанием, и она требовала поднятия его субъективной психологии до этого высочайшего уровня сознательности.

Функционирование коммунистической идеологии на индивидуальном уровне исследовано плохо. Вопрос, которым следовало бы задаться: что реально идеология предлагала индивидуумам, вне зависимости от ее инструментального использования? Почему она привлекала, что в ней было привлекательного? Какие части идеологического текста индивидуум апроприировал, и какие являлись результатом продуктивного взаимодействия между идеологией и “Я”? Ханна Арендт отметила, что идеологии “всегда содержат в себе логику стоящей за ними ‘идеи’”. В идее уже заложен логический процесс, который разворачивается в идеологии.² Создается впечатление, что для Арендт идеология не является готовым, артикулированным текстом; скорее, она распаковывается, как заархивированная компьютерная программа, в процессе индивидуального использования. Однако Арендт не интересуется индивидуум как активный субъект. Для нее идеология сама является движущей силой, которая, сталкиваясь с индивидуумом, уничтожает субъективность: “идеологическое мышление... независимо от любого [индивидуального] восприятия” и представляет собой “эмансипацию мысли от пережитого и переживаемого”.³

² Н. Arendt. Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. München & Zürich, 1986. S. 718.

³ Там же. С 719.

риантами исправления. Безусловно, “заблудшие” товарищи должны были отказаться от своих взглядов под воздействием малейшего упрека со стороны партийного начальства. Но, в конечном счете, главным аргументом был не партийный или бюрократический ранг обвинителя: оппозиционеру, которому открыто предъявляли его ошибки, полагалось сразу их признать, вне зависимости от того, кто указал ему на них – председатель его партийной ячейки, товарищ или кто-то находящийся ниже в партийной иерархии. Партийный чиновник мог потребовать публичного отречения или назначить наказание в случае, если кто-то оказывался неуступчивым. Но партийный аппарат в деле исправления должен был руководствоваться не институциональной властью, а сознанием: в собственном восприятии партия не заставляла, а убеждала. Даже располагая институциональной властью, партийные функционеры (члены контрольных комис-

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

При таком подходе недооценивается активное и творческое участие индивидуума в апроприировании идеологии – процесс, требующий переработки, а не отказа от субъективного восприятия. Идеология функционировала, побуждая индивидуумов смотреть на мир через ее линзы, выстраивать смысл собственного “Я”, тем самым признавая его значимость. Это была творческая задача, формы воплощения которой ограничивались только количеством субъектов, которые она создавала. Индивидуумы вкладывали значительные субъективные усилия в этот процесс. Поднятие психологического опыта до уровня идеологического сознания являлось ответственной задачей, которая порождала противоречия, провалы и моменты сомнений. Но вместо того, чтобы выделять эти моменты как статичные выражения “Я”, я предлагаю обратиться к более значительным, часто диалектическим, структурам самостановления, в которых воплощалось “Я”. Аналогично, столь распространенные в частных источниках сталинского периода стратегии “рационализации” мы должны понимать не как отчаянные попытки “рационализировать” неудобную правду (как это определила бы современная психология), но как составной механизм идеологической апроприации. Рационализация – способность увидеть рациональную логику в случайных проявлениях государственной политики, таких как неожиданные аресты родных или друзей или тебя самого – являлась принципиальным механизмом для советских граждан, которые должны были верить в научные законы развития и в ра-

сий, троек и т.д.) могли быть сурово наказаны, если, подвергая цензуре партийцев, они не прилагали максимум усилий для того, чтобы “открыть им глаза”. Коммунистические “пасторы” должны были залечивать раны оппозиционизма, анализировать его причины и проверять искренность раскаявшихся. Целители душ, они консультировали кающихся оппозиционеров, предлагали способы преодоления их бунтарских наклонностей и культивирования таких коммунистических качеств, которые позволяли бы контролировать эти раскольнические устремления.

6. Редакция AI: В последние годы понятие идеологии практически исчезло из научного языка именно в силу того, что описывало дискурсивную сферу, динамика которой зависела от внедискурсивной реальности. Можете ли Вы описать субъективирующую практику советского режима в терминах идеологии?

☆☆

циональность их существования. Людей сталинской эпохи постоянно призывали рационализировать, обеспечивать соответствие своих ежедневных наблюдений идеологическим мандатам. Чем дальше их наблюдения отходили от обязательной точки зрения, тем больше им приходилось бороться, чтобы восстановить сетку восприятия. Таким образом, способность индивидуума к рационализации феномена была свидетельством его умственной силы и душевного здоровья. Вдобавок, эти механизмы не были сугубо внутренними, необходимыми индивидууму для восстановления душевного покоя. Умение пользоваться идеологией пригодились индивидуумам в их социальной жизни рабочих и граждан, например, когда они обвиняли начальника на работе или подписывали коллективные письма, призывавшие расправиться с врагами народа.

До настоящего момента я говорил о пластичности “Я” по отношению к идеологии; так же следует воспринимать и саму “идеологию” (или “революционный проект”) – многозначное понятие, которое может иметь несколько разные значения в зависимости от контекста его использования. Вместо одномерной диады – идеология *versus* “Я” – стоит обратиться к исследованию пластичности каждого из этих полюсов и к процессу их взаимодействия, а не представлять эти полюса как автономные.

Возвращаясь к индивидууму, я предлагаю сместить акцент в трактовке идеологии с заданного, фиксированного текстуального корпуса

Игал ХАЛФИН С помощью термина “идеология” можно описать ту часть процесса субъективации, который полностью осознавался индивидуумом, те участки, где политический язык был прозрачен. Но я также заинтересован в изучении “дискурса”, поскольку он включает в себя непреднамеренные результаты использования языка.

7. Редакция AI: Наиболее сильный аргумент против нарратологии и лингвистического поворота в истории сформулировали литературные критики. Они предполагают, что повышенное внимание к языку и текстуальности свидетельствует о переходе контроля над значением от автора к исследователю. Как бы Вы прокомментировали эту проблему, которая касается исторических источников и их достоверности, в контексте исследований советской субъективности?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(по типу “идеологии Коммунистической партии”) к ферменту, действующему внутри индивидуума и производящему значительное число вариаций в результате взаимодействия с субъективными аспектами жизни конкретного индивидуума. Такой подход восстанавливает индивидуума как активного агента, но агента идеологического. Вместо выдвижения дискурса в качестве единственного исторического агента, я предлагаю циркульную, или диалогическую, модель идеологии и субъективности. Индивидуум действует как своего рода конечный пункт, где идеология распаковывается и персонализируется. В результате индивидуум превращает себя в субъекта с исполненными личного смысла биографическими чертами. Активизируя индивидуума, идеология сама обретает жизнь. Соответственно, идеологию следует рассматривать как живую и адаптирующуюся силу, обретающую власть постольку, поскольку она действует через живых индивидуумов, которые воспринимают собственное “Я” и мир как идеологических субъектов. Значительную часть логических конструкций революционного мастер-нарратива пересоздания (пересоздания социальной сферы и самопересоздания), коллективизации (коллективизации индивидуальных производителей и собственного “Я”) и очищения (кампании политических чисток и акты самосовершенствования) предлагали и воспроизводили советские граждане, пытавшиеся рационализировать необъяснимую государственную политику, выступая таким образом в качестве идеологических агентов, наряду с партией и государством.

лов” – в моем случае, большевистский дискурс – есть нечто, о существовании чего исторический агент не подозревает, он его не создает сознательно, а как бы наследует. (Сказанное здесь дополняет уже высказанные мною соображения об относительной свободе исторического агента. Он способен создавать новые формы при помощи интерпретации и модификации существующего политического языка, но в процессе такой деятельности его “Я” неизбежно меняется, и предугадать характер этих изменений ему не дано).

8. Редакция AI: Ваши работы задают перспективу становления советского субъекта, в которой решающим моментом оказывается Октябрьский переворот. Не видите ли Вы здесь опасности, о которой предупреждал Бурдье, т.е. опасности использования категорий практики как категорий анализа? Ведь именно для большевистского дискурса характерно противопоставление “до” и “после” револю-

☆☆

Хайдеггера и Фуко, которые выступают как, соответственно, представители поколений сыновей и внуков эпохи *Kulturkritik*.

Безусловно, понятие “идеологического субъекта” не может быть применено ко всем эмпирическим советским индивидуумам или к собирательному индивидууму, даже если его тексты свидетельствуют в пользу существования данного феномена. В действительности понятие “идеологического субъекта” указывает на определенную схему “Я”, на систему представлений о желанной жизни. Для Советского Союза межвоенного периода, а также, возможно, и для всей Европы в период между 1920-ми и 1940-ми гг., идеология в смысле личного *мировоззрения* и обостренное чувство собственной биографии определяли субъективность. Понимаемая таким образом субъективность манифестировала себя не всегда: скажем, советские граждане могли не артикулировать ее, стоя в очередях за хлебом и понося государственную распределительную систему, но она возникала (или, точнее, генерировалась), когда они публично представляли свои биографии, или когда они размышляли над своей жизнью в интимной обстановке.

Я начал этот разговор с *Alltagsgeschichte* и характерной для нее практики разнесения “обыденной жизни” и идеологии. В таком подходе я вижу опасность игнорирования свойственных для того или иного исторического периода концептуальных оснований жизни, ее определения и цели. Я считаю, что “смысл жизни” – не универсальное понятие и не должно отделяться от общих стратегий ежедневного выживания.

воспроизводят понятия, характерные для изучаемого ими периода и показывают, чем один революционер, в его же собственном понимании, отличался от другого, никогда не задумываясь о дискурсивных связях, существовавших несмотря на эти разногласия, о том, как революционеры структурировали свои вопросы, а не о том, как отвечали на них. Однако, сама возможность политических дискуссий в революционную эпоху, как и в любую другую, подразумевает наличие общего смыслового багажа, в соответствии с которым определяется все важное и отмечается второстепенное. Мы гораздо лучше представляем себе, в чем состояли разногласия между Ткачевым и Писаревым, Мартовым и Лениным и т.д., чем то, что их объединяло как носителей общего революционного дискурса, воспринятого от Французской революции. Только проанализировав такие термины, как “современность”, “секулярное мессианство”, “революционная

☆☆

alism in case of Soviet subjectivity studies, which can also be posited as a problem of historical source and its reliability?

Йохан ХЕЛЛЬБЕК Мне кажется, что этот вопрос перекликается с пониманием субъективности, сформулированным в Вашем первом вопросе. По существу, Вы спрашиваете о том, насколько надежны наши исследовательские выводы о горизонтах субъективности, об эмпирическом опыте индивидуума, не являются ли они неадекватным воспроизведением его оригинального смысла “Я”. В связи с этим Вы спрашиваете, насколько надежно тот или иной источник способен передать индивидуальную субъективность, понятию Вами как тотальность мыслей и желаний конкретного индивидуума. Я исследую категории “Я”, их реализацию в индивидууме, влияние на его самоопределение – все это очень отличается от изучения тотальности субъективных горизонтов индивидуума. Конечно, не существует дневника или другого автодокумента, который бы исчерпывающе передавал субъективный мир его автора, тотальность его мыслей и желаний, или даже его “настоящие” мысли. Подобное отношение к источнику исключало бы постановку вопросов о стратегиях и целях текстуального производства, о самоцензуре и умолчаниях и, наконец – о статусе конкретного текста *vis-a-vis* прочих модусов самовыражения.

Повторяю вновь: я не рассматриваю автонарратив как прямое зеркало опыта; я исследую его параллельно с другими типами саморепрезентации как аналог психологической интервенции, как работу над

эсхатология” и т.п., мы сможем углубить наши представления о происхождении советского дискурса. Единственная известная мне работа такого рода, настоящее пионерское исследование революционного дискурса, принадлежит М. П. Одесскому и Д. М. Фельдману (Поэтика Трора. Москва, 1997), но они, возможно, не захотят подписаться под моим теоретическим словарем.

1917 год действительно представляет собой ключевой пункт, поскольку именно тогда революционный дискурс превратился в государственный. Это происходило постепенно: вначале, после Февраля, ни один язык не обладал серьезным властным основанием – интереснейшая ситуация, проанализированная Борисом Колоницким. Позднее, после большевистского переворота, революционный дискурс создает свой правительственный аппарат и свои институты власти. Безусловно, официальный дискурс продолжал развивать-

☆☆

собой, в результате которой формируется облик “Я” – саморефлектирующего, интроспективного, сомневающегося или верящего субъекта, субъекта определенных эмоций и мыслей. Таким образом, я описываю производство тех категорий, которые лежат в основе мыслей и чувств индивидуума и задают ему их артикуляцию.

Большой вопрос, таящийся на заднем плане, касается наших возможностей документирования субъективного восприятия эпохи. Я скептически отношусь к “восприятию” (“experience”)⁵ как к аналитической категории. Особенно в советском контексте она предполагает дуальность между производителями идеологии – режимом – и теми, кто ее ассимилирует. В этой оппозиции “субъективное восприятие” выступает как воплощение аутентичности, в то время как официальное поведение носит налет искусственности. Конкретный субъект может вести себя так или иначе, однако его восприятие жизни не раскрывается в самом действии, его пытаются обнаружить где-то еще. Например, когда мы спрашиваем, как “переживался” культ Сталина современниками, сам этот вопрос предполагает разрыв между создателями культа и воспринимающим его

⁵ Английский термин, который я имею в виду, “experience”, на русский язык лучше переводится как “восприятие”, а не “опыт”: последнему недостает субъективной составляющей. “Опыт” невозможно использовать как глагол (вариант – “я испытываю” или “я переживаю”), в то время как английский термин “experience” это позволяет (“how I experienced the Stalinist regime”).

го развития: по аналогии с большевистскими планами осуществить менее чем за десять лет социально-экономическую трансформацию, которая заняла века в истории Великобритании (цель, артикулированная, в частности, в знаменитой речи Сталина, где речь шла об историческом отставании России и императиве его преодоления до начала войны), переделывание человеческой идентичности и реконцептуализация Нового Человека также проходила в рекордные сроки.

9. Редакция AI: Исследования Советской России можно четко систематизировать по школам, отражавшим поколенческие изменения в дисциплине, очертания которой в значительной степени определили тоталитарная школа и ревизионисты периода “структурализма”. Можете ли Вы очертить Ваши “генеалогические” связи с этими школами?

☆☆

которые конструируют субъектов восприятия. Концепты, при помощи которых реализуется восприятие, не есть данность, ожидающая своего выражения. Только исследование процесса их производства позволит понять, какие конкретно-исторические формы принимало субъективное восприятие в 1930-е годы.

Восприятие не есть универсальная данность, а потенциальная возможность, которая осуществляется в реально прожитой жизни в специфических исторических условиях. В советском контексте это происходило, в значительной степени, под знаком революционного этоса самопересоздания, подкрепленного советским государственным аппаратом с его технологиями допросов и переделывания индивидуальных “Я”. Соответствующий климат и технологии чрезвычайно способствовали созданию отчетов о современном и ретроспективном субъективном восприятии сталинской эпохи.

8. Editors of AI: There emerges a perspective on the development of the Soviet subject in your work in which the October takeover of power by the Bolsheviks is viewed as a watershed in the process of subject construction. Isn't there a bourdieuan danger of translating the category of practice into the category of analysis? Was it not the Bolshevik discourse, which opposed “before” and “after” the Revolution, making it into the fundamental frontier of not only state forms but also fundamental ways of human exist-

⁷ Raymond Williams. Цит. по Joan Scott. *The Evidence of Experience*.

Игал ХАЛФИН Я бы хотел взглянуть на этот вопрос через призму историографии Большого Террора (1935-1938 гг.). Ценой определенного упрощения мы можем выделить два основных подхода к этой главе советской истории: тоталитарный подход, возлагающий ответственность за Большой Террор на радикальную марксистскую идеологию, и ревизионистский подход, концентрирующийся на столкновениях между отдельными личностями и группировками в партийной элите. Правоту тоталитарного подхода я усматриваю в подчеркивании роли идей в истории. Большой Террор невозможно объяснить, игнорируя стремление большевиков очистить общество и создать рай на земле. Но если коммунисты стали жертвами своей собственной идеологии, почему они просто не остановились? Задавая этот вопрос, я хочу привлечь внимание к наиболее очевидной, на мой взгляд, слабости тоталитарного подхода – его преднамерен-

☆☆

ence? In other words, do you see the roots of subjectivizing practices of the Soviet state in the pre-Revolutionary Russia or the February Revolution? On the other hand, how linear was the development of these practices after 1917? Do you see any fluctuations of strength in expressions of subjectivity during the 1920s and 1930s?

Йохан ХЕЛЛЬБЕК Рефлективная и творческая позиция по отношению к себе, подобная той, которая характерна для личных текстов сталинской эпохи, обнаруживается и в дореволюционных источниках. Рождение “Я” в революционном акте – это, конечно, коммунистический миф, но миф, серьезно воздействовавший на реальность. Многие советские граждане, рожденные при царском режиме, восприняли этот миф в процессе концептуализации своих жизней, разделив их на две части – дореволюционную и послереволюционную. В этом нарративе революция символизировала момент перерождения. Однако, с другой стороны, революция оказывалась поворотным моментом, превратившим “Я” в политический вопрос и возвысившим его до уровня программы революционного государства с универалистскими претензиями. Революция породила государственный порядок, который стремился революционизировать “Я” индивидуумов, использовал идеологию самотрансформации и институализировал набор практик, позволявших реализовывать эти планы. Используя государственные институты, скажем, Красную Армию или кампании политического обучения, советское государство побуждало население размышлять о самих себе, размышлять по-ново-

ности. В традициях интеллектуальной истории преднамеренный аргумент оперирует терминами ментальной причинности. Согласно этому сценарию, приверженцы Сталина сначала должны сформулировать некие идеи в своих головах, а затем приступить к их реализации. Напротив, подчеркивая важность коммунистического дискурса, присущей ему символической структуре и системы поведенческих кодов, я не претендую на реконструкцию мыслительного процесса исторических персонажей. Коммунисты, безусловно, отвергли бы эсхатологическую политическую семантику, которую я им приписываю (“присоединение к партии” как “обращение”, “оппозиционизм” как “ересь”, “чистка партийных рядов” как “очищение”, “проверки” оппозиционеров как “инквизиция”, террор как “крестовый поход” и т.д.), как религиозные предрассудки, ничего общего не имеющие с их научным мировоззрением. Что исторические акторы в

☆☆

му, как о носителях “Я”, которое, в ходе трансформации социального и политического пространства, следовало реформировать и переделать. Эти кампании вызвали настоящий всплеск индивидуальных нарративов, всплеск в смысле количества создававшихся автобиографических текстов, а также в смысле присущей им социологической глубины: некогда молчавшие представители населения, особенно крестьяне, обрели язык самовыражения параллельно с освоением чтения и письма.

Так или иначе, программа революционизации и превращения “Я” в универсальный политический проект предшествовала большевистскому режиму. Горький описал ощущение, которое появилось уже в самые первые дни революции, весной 1917 г.: “новый строй политической жизни требует от нас и нового строя души”.⁸ Безусловно, этос жизнотворчества и создания Нового Человека уходит корнями в XIX век, но, чтобы представить его генеалогию и обнаружить характерные для различных революционных кругов “Я”-практики, необходимо проделать еще много работы. Да и для самого советского периода наше представление о формах, практиках и понимании субъективации все еще очень ограничено. Особенно это касается первых лет советской власти и всего периода после 1941 года. Что касается 1920-30-х гг., то характерные для этого времени практики субъективации и их результаты я подробно разбираю в своей книге, которая готовится к публика-

⁸ Максим Горький. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 113.

действительности имели в виду, чего они ожидали – этими вопросами я не задаюсь.

В историографии принято считать, что исторический агент контролирует то, что говорит, сознавая значение сказанного. Я бы, напротив, предположил, что привычные оценки экономической или социальной деятельности человека могут быть применимы и к языку – этому мнимому ядру “аутентичного Я”, а именно: коммунистический язык имел непредвиденные последствия. Ни производители языка, ни его потребители не могут быть вполне уверены в том, что заложено в языке, который они используют. Вполне реально развести чуткость историков тоталитарной школы к тому, как коммунистическое мессианство структурировало коммунистическую идеологию, и их преднамеренный подход. Сталинисты пришли к совершению кровавых актов, вероятность которых никак не вытекала из гу-

☆☆

ции. В этот период различные способы восприятия и переплавки собственного “Я”, несмотря на все их многообразие и все взаимные несоответствия, объединялись фундаментальным историцистским сознанием участников процесса, веривших, что “Я” есть продукт исторических форм жизни и оно развивается, в созвучии с законами истории, к финальной стадии совершенства и гармонической интеграции. Несмотря на то, что революционные активисты 1920-х и 1930-х гг. расходились в вопросе о природе человека – есть ли он создание механическое или органическое, физиологическое или психологическое, – они действовали в рамках историцистского сознания, которое предполагало измерение политики субъективации, а также развития их собственных “Я” на весах исторического прогресса.

Подобная позиция располагала к диалогу не только в пределах различных фаз советского проекта, но и с XIX веком. Начиная с 1930-х гг. мы наблюдаем среди литературоведов и педагогов, а также среди обычных молодых советских граждан – авторов дневников, увлечение такими мыслителями, как Белинский, Герцен и Чернышевский. Особой популярностью пользовались их взгляды на формирование индивидуума. Возьмем пример Белинского. Посвященная ему монография 1939 года открывалась эпиграфом из самого Белинского: “Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-м году – стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего про-

правления, популярного лет десять-пятнадцать тому назад, видели причину Большого Террора в хаотически организованном и расколотом партийном аппарате и считали, что пролитие крови партийцев в 1930-е гг. стало результатом борьбы в политическом руководстве. Пытаясь нащупать “ключ к пониманию [...] взаимодействия политических, социальных и экономических сил, составлявших историю Советского Союза”, Бенвенути недавно заявил о своем намерении изучить “день за днем эмпирическую политику”, которая, по его мнению, и есть “движущая сила советской истории (и истории человечества в целом)”.² Ослабленная “сопротивлением централь-

² F. Benvenuti. A Stalinist Victim of Stalinism: Sergo Ordzhonikidze // J. Cooper, M. Perrie and E. Rees (Eds.). Soviet History, 1917-1953. Essays in Honor of R. W. Davies. London, 1995. P.135.

☆☆

Йохан ХЕЛЛЬБЕК Хотя у меня есть разногласия с обеими школами, мой подход к советской субъективности, тем не менее, был сформирован ими в равной степени. Говоря обобщенно, тоталитарная школа выдвигает единственного активного агента – идеологическое государство. Исследователи ревизионистского направления отрицают значение идеологии, указывая на слабость государственных институтов как носителей тоталитарных устремлений. Вместо этого они делегируют активную роль различным социальным группам, которые изображают как автономных акторов. В определенном смысле мое исследование есть синтез этих позиций: я реабилитирую идеологию, но понимаю ее иначе, не в монологичной и институциональной трактовке тоталитарной теории. В то же время, я сохраняю представление об индивидуальном агенте, однако агенте не автономном по своей природе, а производном от идеологии, с которой он состоит в динамическом взаимодействии (см. мои предыдущие ответы). Я также считаю, что, уделяя одновременно внимание идеологии и субъекту и их продуктивному взаимодействию (что я и пытаюсь передать с помощью понятия “идеологический субъект”), мы лучше понимаем экзистенциальный аспект времени – тема, которой, за исключением Ханны Арендт, не интересовались ни ревизионисты, ни теоретики тоталитарной школы.

Тем не менее, позволяя себе столь грубые генерализации, я не являюсь сторонником классификации исследований по узко школьному принципу. Подобные классификации выявляют определяемого Друго-

ным директивам на местах [...] и низким ‘культурным уровнем’ тех, кто непосредственно осуществлял политику [властей]”, партия, по мнению Бенвенути, обратилась к насилию, поскольку якобы не могла удовлетворять “значительные требования, предъявляемые ей из центра и периферии”. Несмотря на то, что функционалистская линия интерпретации указывает на бюрократические столкновения как на принципиальные причины Большого Террора, невозможно объяснить столь жестокую серию событий только внутривластными стычками. Ревизионистский подход абсолютно тривиализирует наиболее важную характеристику сталинского режима – его смертоносный характер. Хотя конфликты между различными ветвями государственного аппарата возникают при любой правительственной системе, они, как правило, не оставляют после себя след из мертвых тел (примерно 30.000 администраторов покидают Вашингтон вместе с

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

го, по отношению к которому определяется место собственной работы, но они редко дают справедливую оценку конкретным исследованиям, собранным, главным образом, с целью закрепить за ними некий ярлык. Ханна Аренд в этом контексте является хорошим примером. Ее исключительно пронизательные и вдохновляющие работы, находящиеся в переключке с центральными категориями философских и политических теорий XX века, применительно к советским исследованиям сразу получают статус “тоталитарных” и причисляются к направлению, которое считается отжившим и потому не читается.

В идеальном мире историографические дискуссии были бы такими же нюансированными, как и научный анализ; они бы показали, что историки, подобно изучаемым ими историческим “Я”, не суть статичные интеллектуальные субъекты, что они тоже подвержены динамическим процессам самопереопределения в контексте развивающегося научного окружения. Это окружение должно определяться шире, чем область советской историографии, по крайней мере, оно должно включать историографию современной Европы, литературоведение и критическую теорию. В моем конкретном случае, в моих ранних публикациях середины 1990-х гг. я гораздо ближе следовал Фуко, нежели сейчас. Я утверждал, что субъективирующие практики советского государства, или точнее – те практики, следы которых остались в архивах и таким образом оказались доступны нам – равнозначны индивидуальной субъективности. И, соответственно, я намеревался показать,

переизбранным президентом, но они – и в этом все дело – не истребляются физически). Советская бюрократия – машина уничтожения – не может рассматриваться как просто еще одна правительственная система. Революционное насилие не может быть сведено к обстоятельствам. Понимание внутренних механизмов деятельности сталинских смертоносных институтов необходимо, и здесь достижения ревизионистской школы безусловны, но коммунистический миллениаризм предшествовал расцвету сталинизма и в качестве картины мира существовал вполне независимо. Я отвергаю позицию, которая преподносит Большой Террор как византийские придворные махинации, позицию, которая основывается на психологических и политологических категориях сомнительной объяснительной ценности. Также я не принимаю точку зрения, согласно которой Большой Террор был случайным сбоем в работе просвещенной и прогрессивной,

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

как язык государства мог стать языком индивидуума и его “Я”. По ходу исследования я стал склоняться к более широкому видению горизонтов значения и к более динамической модели взаимодействия между большим количеством акторов, где дисциплинарный язык и практики государства являются только одним из целого ряда векторов взаимодействия. Соответственно, индивидуумы оказываются менее детерминированы какой бы то ни было дискурсивной конструкцией; они также не воспринимаются как резервуары дискурсивных режимов, но как активные субъекты, одновременно формирующиеся идеологией и перерабатывающие ее.

В общем, я признаю больше свободы за индивидуумом, которого понимаю как “идеологический субъект” в вышеприведенном смысле. Фуко также признает инициативу за индивидуумами, но лишь в той мере, в которой он концептуализирует их как сопротивляющихся субъектов. Такая модель полезна, поскольку она плюралистична (множественные, “локальные” акты сопротивления, а не “сопротивление” вообще) и демонстрирует продуктивность властных отношений. Однако факт остается фактом: индивидуальное “Я” в этой модели определяется негативно, через акт сопротивления, что не позволяет понять, какие стимулы, помимо насильственной власти, побуждали индивидуумов к достижению определенных целей, и, более фундаментально – она не позволяет понять субъектов XX века как экзистенциальные существа.

но, к сожалению, перегретой правительственной машины. Я пытаюсь найти объяснение массовых смертей в самом коммунистическом дискурсе, который превратил чистки и насилие в нечто легитимное и необходимое для общественного “здоровья” и “чистоты”. Да, террор был фактором повседневности, но не потому, что сталинские политические махинации являлись чем-то обыкновенным (так их могли воспринимать только поклонники Макиавелли), а потому, что революционный политический язык проник в самые поры советской действительности.

Демонстрация того, что коммунистический язык воплощался, осваивался, использовался и опровергался на всех уровнях коммунистической системы, позволит преодолеть узко-политическое понимание власти, столь распространенное в текущей историографии советского периода. В последние годы Большой Террор изучался в кон-

☆☆

Ранее, когда речь шла о “субъективном восприятии”, я отмечал, что в качестве аналитической категории, фиксирующей эмпирическую реальность, это понятие не особенно полезно, и предлагал взамен изучать процессы, в ходе которых конструируются субъекты восприятия. Тем не менее, ощущение, что есть некий субъективный, переживаемый мир мыслей и эмоций, сохраняется. Кажется, что он ВНУТРИ: в умах индивидуумов, которых мы хотим понять. Я не верю, что мы можем проникнуть в этот мир, но мы способны очертить его контуры, воссоздать универсум значений, набор эмоций и категории самопонимания. Восприятие в его интуитивном понимании, как голос аутентичного субъекта, находится внутри этого более широкого и динамично взаимодействующего категориального поля, которое разворачивается и пребывает в постоянном движении, подобно киноленте. Фильм как целое производит свою правду; эта правда не может быть установлена в результате ареста фильма и отдания предпочтения единому статичному образу.

Когда этот подход переносится на наши источники, мы видим, что они суть только составные части, актеры или сцены, из которых складывается фильм. Вместо абсолютизации какого-то одного корпуса текстов мы должны изучать их в контексте других текстов и всегда задумываться о том, почему данный источник существует, почему и как он был создан, сохранен и стал доступен исследователям, какое высказывание могло превратиться в текст, а какое – нет. В конце концов, мы должны

тексте советской экономики, политики и общества. Я предлагаю обратиться к методологиям Фуко и Лотмана и рассмотреть этот феномен через призму мессианских идей и практик, воплощенных в жизнь Российской Революцией.

☆☆

дополнить изучение текстов историческим воображением и реконструировать стоящие на кону ставки – политические, но также биографические, моральные и экзистенциальные – которые были задействованы в производстве, презентации, защите или опровержении специфических трактовок “Я”.

